

ЗАХАР ПРИЛЕПИН

...ПОКА КАПКАН СУДЬБЫ НЕ ЩЁЛКНЕТ

Слово про Луговского

Володя натягивает нос

“Вот, детка, такая картинка!” – было любимым присловьем поэта Владимира Луговского.

Мы нарисуем несколько картинок, стараясь не сильно их раскрашивать, но лишь идти вдоль линии человеческой судьбы.

Всякий сочинитель, выбирая свою тему, рискует не только получить награду за выдуманное, но и однажды встретиться в жизни с тем, о чём писал на бумаге. Мало в чьей жизни эта встреча была так явственна, как в случае Луговского.

Капкан, поставленный тобой для кого-то, – многие годы ждёт тебя самого.

Шаг за шагом, следуя за биографией Луговского, мы придём к этому капкану.

Даты его жизни – образцовые для того поколения.

Рождён в 1901-м – начало века.

(1900 – слишком ровная и красивая цифра для поэта, а 1899 – совсем прошлый век, и оттуда неизбежно потянется его наследство; в том году, характерно, родились Владимир Набоков и Леонид Леонов – два года разницы, а далеки от Луговского несказанно.)

Умер же Луговской в 1957-м – в год юбилея Великого Октября, познав всё его наследство: с одной стороны, уже после страшных разоблачений, с другой стороны – когда революция ещё дула во все паруса русской истории и ветер был горяч.

(Следующий юбилей уже содержал лёгкую тревожную ноту, юбилей 77-го – если и звенел, то казённой бронзой, а юбилей 87-го года, по сути, сорвали, и делать там легендарному революционному поэту было бы совершенно нечего: или вызывать скепсис и снисхождение, или самому брюзжать на собственную юность – ещё неизвестно, что хуже.)

Предки Луговского по отцовской линии жили на Севере, в Олонецком крае. Дед Фёдор Александрович был священником.

На свадьбе родителей Луговского, в 1896 году, Фёдор Александрович поднялся, провозгласил тост “За здоровье молодых!” – в тот же миг выронил рюмку и умер.

Свадьбу отложили на год. Рождение поэта Луговского отсрочили.

Родился он в доме у деда по материнской линии в Москве, на улице Поварской, 1 июля (по новому стилю). Первый ребёнок в семье. Мать едва не умерла при родах.

“Говорят, что всё случилось как-то одновременно, – вспомнит потом сестра Луговского, – начали бить часы, полил дождь и появился на свет большеголовый укрупнённый мальчик... Чудом выжила мать, а ребёнок чувствовал себя прекрасно”. (Укрупнённый мальчик, поторопимся сказать, вырос в огромного – выше эталонного великана Маяковского – мужчину.)

Отец поэта, Александр Фёдорович, преподавал литературу в Первой московской мужской гимназии на Волхонке, 16, напротив храма Христа Спасителя.

Мама, Ольга Михайловна, тоже происходила из семьи священника – Михаила Дмитриевича Успенского, настоятеля церкви Симеона Столпника на Поварской. В юности она была певицей, а затем, как и муж, занялась преподаванием – учила пению.

Жила семья Луговских возле отцовской гимназии.

Квартира – очень большая, многокомнатная, огромная кухня. Мать любила натёртые полы – в дом приходили полотёры: всё сияло.

Имелись две сестры, Нина и Таня (по прозвищу Володи – Тучка, она же Туся).

Красавица кухарка Лиза, обеды из трёх блюд.

Няня Катерина Кузьминишна – из деревни Непрядва на Куликовом поле, знаток поговорок и преданий, и заодно – пьяница. Рассказывала прекрасные и несусветные сказки (был такой царь Додон, тоже с Непрядвы родом, однажды проглотил все звёзды, стала тьма, потом обожрался блинов, его вывернуло – и свет вернулся). Раскалённую кочергу брала голой скрюченной рукой. Напивалась и несколько раз забывала детей на улице, её увольняли – но младшая сестра Таня начинала целыми сутками реветь, и няню возвращали в семью.

Ещё была фрейлен Аделина, немка. Катерина Кузьминишна называла её фришкой.

Картинки детства странным образом мелькают в стихотворении Луговского “Биография Нечаева”, там он пародирует свою судьбу: “Жизнь?. . Жизнь была ласковая, тоненькая, палеваая, / Плавная, как институтский падекатр. / Ровными буграми она выпяливала / Блока, лаун-теннис и Художественный театр”.

Чтению выучился в пять лет без посторонней помощи.

Читал, поджав под себя ногу и то медленно и плавно, то вдруг резко взмахивая рукой – словно подыгрывая себе. Читая, ничего не замечал, весь был – там.

Сестра Таня вспоминала: “Любил играть один”.

“Всё строил из кубиков какие-то города и дома. Потом прятал свою руку в одном из домиков, а другой рукой стучался в него и спрашивал: “то там” (кто там?), и не пускал вторую руку в дом”.

“Был горд. Не любил подарков”.

Таня была плакса, Володя не выносил слёз. Когда начинала реветь, вставал на коленочки возле её кровати и шептал: “Туся, хочешь я стану Робинзоном и посватаюсь к твоему пупсу?”

“Он подрастал как-то странно, – вспоминала она, – Скачками. Несоразмерно. Сначала у него страшно выросли ноги. Потом голова за одно лето сделалась такая большая, что новая, купленная весной фуражка уже не налезла на его голову и пришлось покупать другую. Потом он и сам к 14 годам так вырос, что когда мы все трое заболели скарлатиной и нас отправили в детскую клинику, то там, в клинике, не нашлось кровати по Володиному росту. Пришлось родителям покупать новую большую кровать и дарить её потом больнице на память”.

(Болел очень тяжело, терял рассудок, кричал, что он лесной царь, однажды вскочил и, в бреду, пытался выбежать из палаты; в этот день умер его дед – священник Успенский. Верно, хотел дедушку спасти.)

Потом ещё по-разному росли нос, глаза и уши и только брови с детства оставались неизменными. О бровях мы поговорим отдельно, они играли не последнюю роль в жизни Луговского.

Отец его был знаком со Львом Толстым. Маленький Володя однажды стал свидетелем, как отец, — который всегда казался величественным и строгим, — встретил какого-то бородатого деда и бросился целовать ему руку.

В доме Луговских бывали историк Ключевский и поэт Брюсов.

Отец был больше, чем учитель — его знали, как одного из умнейших людей Москвы. Ну и мать пела так, что, бывало, исполнит романс — дверь откроют, а там стоят их домработница и соседская, забежавшая помочь, и обе плачут.

Семья снимала дачу, которую до них много лет снимал композитор Скрябин.

Володя занимался музыкой и подавал блестящие надежды: бесподобно пел и отлично играл на рояле.

Быть может, в подобных семьях и вырастают революционно настроенные юноши.

Даже 1905-й год Луговской (четырёхлетнее дитя!) не забыл и рассказал после: “Я помню обстрел Трёхгорки, гром и пламя, пустые переулки, цокот подков казачьих патрулей, постоянное отсутствие отца в эти дни, тревогу во всём доме, а до этого — известие о смерти дяди Павла, убитого, как я позже узнал, залпом роты Семёновского полка на Гороховой улице в Питере”. (Дядя Павел выступал перед студентами, зацепившись за фонарный столб: так и погиб, у столба.)

Учился Владимир в той же гимназии, где преподавал отец.

Отличался, по собственным словам, “феноменальной неспособностью к математике и фантастической приверженностью к истории, географии и литературе”.

Имел интерес к морским сражениям (бесконечные тетрадки, куда наклеивал картинки баталей) и к Средней Азии. “Подолгу застаивался перед картинами Верещагина”.

В сорок лет Александра Фёдоровича Луговского хватил жесточайший инфаркт. Володя читал ему вслух — отцу запретили даже перелистывать страницы. Бессильные веснушчатые руки поверх одеяла.

Лежал так целый год. Володя, совсем мальчик, сказал матери: “Я буду вместо отца”.

Мать влезла в долги и сделала отцу непомерно дорогой подарок, купив картину Саврасова “Грачи прилетели”.

Раскрыли двери спальни — отец увидел картину и единственный раз во взрослой жизни заплакал. От счастья.

После этого случилось чудо и болезнь пошла на убыль.

Чуть позже, на радостях, Луговские ещё и Левицкого приобрели.

Так что Володя рос среди подлинников русских изобразительных шедевров.

Александр Фёдорович владел двенадцатью языками — греческий и латынь в числе прочих.

Володя успел выучить, как минимум, половину из этого списка. С самого раннего детства — французский, немецкий и латынь, потом сын вдруг объявил, что собирается идти на флот и ему нужен английский.

Спорить было не в правилах отца, сказал: хорошо, зарабатывай на репетитора сам.

Володя зарабатывал четверть стоимости репетитора, тем не менее, в дом стал приходить англичанин — котелок, белое кашне, трость.

В тот же год Владимир решил, что музыкой больше заниматься не станет. Родители взяли с него расписку: в будущем он обязуется не корить их из-за того, что они послушались неразумного сына. Расписался и — не корил никогда.

Помимо несомненного музыкального таланта, он ещё и рисовал — “очень своеобразно, лаконично и с большой лёгкостью. Этот врождённый дар он совсем не развивал, а пользовался им всю жизнь в минуты рассеянности или для выражения смешного...” — вспоминает сестра Таня.

Лет в 14 начал писать стихи. Звал Таню послушать, и никогда не признавался, что стихи его.

В юношеском дневнике писал: “Хочется хоть немного возвыситься, быть хоть маленьким камешком среди песка. Может быть, кто-то прочтёт, сохрани Бог, мой глупый дневник, пусть тогда он не смеётся надо мной. Он, наверно, испытывал тоже такое желание. А ведь кто меня знает? Мало кто. Подумаешь,

что пропадёшь в мире и никто не будет знать об этом и “равнодушная природа красую вечно сиять”. Впрочем, прочь эти мысли. Теперь я пишу трагедию “Ганс Флоритен”, наверное, глупая вещь. Хочу также писать роман “Среди волн мирского моря” из собственных чувств и переживаний”.

У сестры имелась разгадка будущего характера брата.

С 14 лет Володя научился проделывать один фокус с физиономией. “Он подходил к зеркалу, тянул за какую-то невидимую ниточку своё лицо, и оно становилось другим: брови свирепо сдвигались и закрывали глаза, невидимые глаза должны были подозреваться злыми, рот ужимался внутрь, нос горбился, и на переносице выступал хрящик. И сразу из милого, доброго Володи он становился грозным человеком. Мы с сестрой этот вид его лица называли “Володя натягивает нос”. А мама говорила: “Володя ранимый мальчик, он даже придумал себе лицо для защиты от плохих людей”.

“Наш Володя больше любил читать, чем драться, – вспоминала сестра, – Но уж если приходилось ему вступать в драку, то так лупил товарищей – был сильный, – что их родители приходили к нашему папе жаловаться. Да и сам он являлся после драки окровавленный, а няня прятала его в кухню и смывала с него кровь перекисью водорода”.

Он потом целую жизнь будет проделывать этот фокус с физиономией и доказывать, что умеет драться. Пока не дойдёт до своего капкана. Мы уже прошли часть пути, и капкан стал ближе.

В гимназии, зимой, инспектор младших классов как-то заметил Володю курящим. Сообщили об этом родителям, но мальчика даже не поругали. Но потом наступила весна, Пасха. Детям в семье Луговских традиционно дарили подарки – все ждали Пасхи с нетерпением. Тане достались альбом и краски, Нине – медальончик с сердечком, а Володе... большая пачка табаку и машинка для набивания папирос – остроумная родительская месть. Мальчик сидел перед подарком, пунцовый от стыда. Долго потом не курил...

Ещё на минутку останемся в детстве, там всё-таки хорошо.

“Читаю Диккенса. Иногда мне нравится его тихая, семейная, чисто английская жизнь...” – это из его дневника.

Нянька затапливает печку. Печка гудит. Звук начала жизни, взросления, тепла, защищённости.

Нянька рассказывает младшей сестре очередную сказку про Додона. Тот Додон управлял своим государством, располагавшимся на семи китах, вьюга служила ему, а вместо коня был ветер.

Ох уж этот ветер.

“Декабрьские ветра, не плачьте, не пророчьте...” – это из стихов Луговского, где слово “ветер” будет, наверное, самым частым и самым важным.

Командир с кобурой

Луговской вырастет и возмужает на непрестанном фоне сражений и убийств. В своём юношеском дневнике он будет, в полном соответствии с российскими настроениями первых двух лет Первой мировой, называть её патетично, с двух прописных “Великой Войной”.

“К нему приходили мальчики... – вспоминает сестра Таня, – которые... зачарованно слушали его объяснения про Цусиму, оборону Севастополя или вообще про войну, которая уже шла и сводки с фронта громко читались у нас дома... Приходили письма от папиного брата, нежно любимого нами дяди Жени. Он был военным врачом и находился где-то в Галиции.

Нянькин сын Василий тоже воевал где-то солдатом, и она искала утешения в казёнке... Васька был неграмотный, и за него писал письма его товарищ... Однажды нам пришёл ответ в стихах... Неизвестный нам адресат писал: “Папиросочку курнул и барышню хорошую вспомянул”. Мы все были очень довольны этим письмом”.

Много позже, в автобиографии, Луговской напишет о войне: “Сначала она пришла трофейными германскими касками, ослепительными олеографиями побед, лихих рубак и подвигов, а потом стала оборачиваться иной сущностью”.

Луговской, ещё совсем подросток, работает в госпитале, ухаживает за ранеными. Забегая вперёд, надо сказать, что санитарная работа для него, доброго, обходительного и заботливого – была бы лучшей из возможных.

Но его всё время будет нести туда, где раны, которые он обрабатывал, получают. К “ослепительным олеографиям побед” и “лихим рубакам” – в строй. Ему бы смыть чужую кровь перекисью водорода, а он как начал “натягивать нос” в шутку перед близкими, так и не перестал, выйдя в мир.

Дневник Луговского за 17-й год: “1 марта. В Москве тоже революция. Перед Думой на Красной площади громадные толпы, там войска... В три часа я вышел на улицу. Вот мои впечатления: По Волхонке двигались нестройные толпы народу (рабочих, студентов, женщин) и солдат. Кое-где виднелись красные флаги. Раздавались революционные песни. Публика немного торопилась. Толпа останавливала офицеров, отнимала у них оружие, затем осматривала сумки посыльных солдат... Собирались митинги. Толпы осаждали Манеж, где засели 2 эскадрона жандармов... В 4 часа дня (приблизительно) растворились двери Манежа, и на белой лошади, с белым платком на сабле выехал жандармский полковник, за ним офицеры с белыми платками, и наконец все жандармы. Толпа их встретила овациями и криками “Ура”... Народ уже был вооружён: мелькали шашки, штыки-ножи, иногда винтовки...”

В октябре 17-го дом Луговских оказался ровно посредине перестрелки – большевики забрались на колокольню храма Христа Спасителя, а юнкера сидели в Александровском училище на Воздвиженке.

Отец закрыл матрацами окна и работал. Володя горячился, супил брови, ему хотелось на улицу, в стрельбу.

“Пусти меня, мамка, не то печь сворочу”, – позже будет у него такая строчка.

На первый раз мамка не пустила, видимо, ещё могла справиться – но на другой день он всё равно сбежал из дома. Не было до самого вечера, вернулся с карманами, полными гильз, похвастался, что юнкеров отогнали – Луговской сразу и безоговорочно болел за большевиков.

Стрельба продолжалась – и теперь Володя каждый день уходил в город. Его повлекло.

В 1947-м, в юбилейных строчках, опишет, что было так: “Я мальчишкой бежал по твоим переулкам, / Осень глотал, качался от пуль. / Проектор ворочал белесыми буркалами. / Сыпался первый морозный пух”.

Революция своим чередом, а дом Луговских понемногу начинает беднеть – они до недавнего времени жили в достатке, от которого стремительно, к 18-му году не осталось и следа.

Мать, пишет в своих воспоминаниях Татьяна Луговская, “без всякой трагедии... выменивала на продукты свои колечки и серёжки, не только не жалея их, но даже удивлённо радуясь, что их можно было съесть”.

Владимир, окончив семь классов гимназии, некоторое время учится в Московском университете, но ему было совсем не до наук.

Луговскому ещё не исполнилось 18, когда он уехал на фронт, в Смоленск. Попал в Полевой контроль Западного фронта.

Не передовая, но весь необходимый набор в наличии – знакомства и ночные беседы с комиссарами, пленные белогвардейцы, раненые красноармейцы, жаркий революционный гон – всё это он видит, всё это покоряет его навсегда, обо всём этом он будет писать целую жизнь – и даже почти полвека спустя. Успеваешь один раз навестись домой, привозит два караваев хлеба, испечённого на кленовых листьях. Торопливо возвращается на фронт, к своим удивительным приключениям и... вскоре заболевает сыпным тифом.

Судьба бережёт от бойни: погоди.

Совсем юному фронтовику приходится вернуться в Москву на лечение.

В семье заметные изменения быта.

“Сразу после революции отец идёт работать в Наркомпрос”, – писал Луговской в биографии, что было не совсем правдой.

Только в конце зимы 1919 года Александр Фёдорович через Наркомпрос создаёт в Сергиевом Посаде колонию для подростков, натурально спасая многих от голода.

Подростки работают в поле, занимаются скотиной, а в свободное время их учат. Учитель поначалу был, собственно, один – Александр Фёдорович, а жена его Ольга Михайловна – заведующая по хозяйству. Потом ещё прибавились помощники.

В колонии, кстати, учится сестра будущего режиссёра Всеволода Пудовкина – Маруся, по прозвищу Буба. А самого Пудовкина звали Лодя. Он был

тогда ещё химик. Они сойдутся с Луговским и все 20-е будут дружить взахлёб. Потом – расстанутся и напрочь забудут о юношеском přátельстве.

Владимир время от времени ездит к отцу в Сергиево, вроде как навесить родных, но ещё и с новой целью. Неподалёку стоит туберкулёзный санаторий, и у него начинается бурный роман с дочерью врача. Дочь зовут Тамара Эдгаровна Груберт. Имя, словно созданное для поэзии и посвящений. (Впрочем, называть он её в письмах будет то Тамуся, то вообще – Самара Егоровна.)

Она и войдёт в поэзию: станет женой и другом Луговского. И матерью его первой дочери.

В 19-м Луговской сочиняет, как приговорённый, стихи: ночами, еле успевая записывать... Что-то из стихов тех лет будет прочитано давнему знакомому отцу – Валерию Брюсову, что-то Константину Бальмонту, ещё жившему в России... Ничего из этих стихов не будет опубликовано.

Но несколько строф сохранилось. Вот строки от 15 мая 1919 года: “И волк серый рыщет, и половец свищет, / И бьётся в кольчугу стрела. / Но миг... и вот сеча в звериной отваге / На дальнем безвестном пути. / Старинные песни, суровые саги / Опять закипели в груди”.

Пролечив все последствия сыпного тифа, Луговской устраивается в милицию и получает должность младшего следователя при Московском уголовном розыске. Участвует в разгроме Хитровского рынка, который стал фактически государством в государстве: сеть притонов и бандитских хаз вступила в противостояние с милицией и новой Советской властью. Луговской несколько раз мимолётно участвует в погонях и перестрелках. Хитровку задавят и рассеют.

Во время очередного заезда в Сергиев Посад родные с удивлением замечают, что Владимир хоть старше местных курсантов всего на два года, а выглядит и ведёт себя так, будто разница между ними просто непреодолима. Опыт! И кобура на боку.

Девушки буквально повизгивают, когда Луговской рассказывает то про Западный фронт, то про бандитов с Хитровки.

Он поступает в Главную школу Всевобуца (всеобщее военное обучение трудящихся – по 96-часовой программе в течение 8 недель), заканчивает её (там, на выпускном звучит курсантская “Венгерка” – из которой потом вырастет классическое стихотворение Луговского) и переходит в Военно-педагогический институт.

В 1921 году институт окончен; дальше – пехотные курсы и политотдел Западного фронта.

Луговской становится профессиональным военным и проходит полный круг должностей: от курсанта до командира и политработника.

В феврале 1921 года инструктор Красной Армии Владимир Луговской (3-я Пехотная школа Западного фронта) пишет из Смоленска своей Тамаре: “. . . великое слияние со смертью и природой нужно почувствовать, что ты и мастодонт, бешено ревуший миллионы лет тому назад, одно и то же проявление радостной могучей жизни, но жизни, которая сменяется и мешает меньшей жизни, обособившейся от неё, залезшей в скорлупу своего “я”, где ей тепло и тесно. А если по чьей-то скорлупе и ударит судьба железным кулаком, то как больно делается этому жалкому “я” и каким холодным кажется мир, когда оно выуплывается из осколков этой скорлупы. А Великая жизнь несется, гремит, кидает миры, носит кометы”.

Он желает растворить своё “я” внутри “Великой жизни”, чтобы вместе с ней “греметь” и “нести”.

Действительность располагает к таким стремлениям.

Любимой Тамаре отчитывается в тот же год из Смоленска: “Завтра опять беготня и казармы, казармы, военкомы, клубы; может быть, только вечером зайду в Университетскую библиотеку и почитаю”.

Иногда в письмах Тамаре, посреди прозы, вдруг появляются две строки: “Буду затвором щёлкать / И думать, милая, о тебе”.

В 1922 году Луговской возвращается в Москву и поступает на службу в Кремль: гренадерского роста красавцы актуальны во все времена. Он служит в управлении делами Кремля и в Военной школе ВЦИК. Становится свидетелем последнего приезда Ленина в Кремль.

“Он вышел медленно, но как бы быстро, / Ссутулясь и немного припадая, / Зажав в руке потрёпанную кепку. / Он вежливо ответил нам. / Желтел / Огромный лоб болезненно и влажно...” — это из поздних поэм Луговского.

В письмах Тамаре писал, что работает в Кремле “с отвращением”: но тут никакой оппозиции нет — просто жизнь стремилась к литературе, а кремлёвская работа была скучная и однообразная — вот только что Ленина видел разок, и всё.

Наконец, в 1924 году — демобилизуется.

Они втайне заключают брак с Тамарой Груберт, о чём Луговской постфактум отписывает её матери письмо весьма сомнительного содержания: “Мы сочли нужным наши отношения оформить... причём... я оставляю Тамару совершенно свободным человеком, каким она была до сих пор. Она сейчас ещё очень хрупка и не сформировалась психически, как человек... Поэтому я представляю Тамаре полную свободу и самостоятельность”.

Родители Луговского тоже обо всём узнают постфактум. Отец — отчитывается Володя своей молодой жене — “назвал нас дураками, обещал меня выпороть, но сменил гнев на милость... мама, к моему удивлению, целиком приветствует нас”.

Характерно, что сама Тамара, даже после заключения брака, желая жить с Луговским совместно не изъявляла. (Сам Володя характеризовал, хоть и в шутку, свою жену, как “капризную”, “лохматую” — мы понимаем, что речь здесь идёт о натуре, но не о причёске, и “нахальную”, а сестра его Таня, в письмах брату тех лет, совершенно всерьёз называла Груберт “чужой”, “своевольной” и “властной”.)

В том же году, зимой, Луговской пишет ещё сбивчивые, ещё юношеские, но уже в чём-то пророческие стихи, проглядывая судьбу свою:

“Год седьмой в тяжёлый грохот канул... / Год восьмой — упорство укреплю”, — Луговской отсчитывает своё бытие от года революции, — “Но судьба змеящимся арканом / Мне на горло кинула петлю <...> Каяться мне вовсе не пристало. / Прошлое бесчестить — не хочу. / Сам я сапогом давил усталым, / Сам уподоблялся палачу. / А теперь оправдываться странно, / Жизнь ведь к обвиняемому строга. / Многие твердили мне пространно, / Что свалюсь я к черту на рога. / Поздно поворачивать обратно, / Мир на повороте отупел. / Нужно погружаться троекратно / В новую холодную купель”.

Стихов им написано множество, но как главную профессию Луговской поэзии ещё не воспринимает. (Он так и работает в политпросвете до 1928 года.)

Отец, самый строгий его читатель, публиковаться ему пока не велит: сын слушается. На фронт — без спроса, а в литературе авторитет отца неоспорим.

Александр Фёдорович умер 3 мая, на 51-м году жизни, 1925 год. Во сне.

Сын был с Тамарой в Загорске — за ними послали.

Когда приезжает — проходит в комнату, находит на полке Блока — и читает отцу: “Боль проходит понемногу, / Не на век она дана...” И следом — Некрасова: “Уснул потрудившийся в поте! / Уснул, поработав в земле! / Лежит, непричастный заботе, / На белом сосновом столе...”

В этом, кажется, есть не только глубокое трагическое чувство, но и некая аффектация. У Луговского эти вещи часто будут смешиваться. Или мы сейчас незаслуженно строги и не видим действительной высоты горя?

На гражданской панихиде в школе и жена, Ольга Михайловна пела — пушкинский романс на музыку Бородина: “Для берегов отчизны дальней...”

Хоронили на Алексеевском кладбище, гроб всю дорогу несли ученики.

Когда священник отпевал покойного, сын, не дав закончить панихиду, встал у гроба и ещё прочёл из Блока. Отец, наверное, не рассердился бы на это; искусство, как порой говорили в те времена, было его религией.

Своей смертью Александр Фёдорович будто вытолкнул сына в поэты: теперь можно, теперь ты за старшего, теперь ты совсем один и отвечаешь сам.

Владимир Луговской дебютирует в “Новом мире”. В десятой книжке за 1925 год выходит одно, одобренное самим Луначарским стихотворение, которое Луговской потом не публиковал:

“Хотел я жить, ползти и падать первым / В пальбу, в теплушку, в рыжие года”.

И главное:

“А завтра мне... А завтра за расплатой — / Осенний фронт шинелью подметать”.

Сам напрашивался на эту расплату с первого же выступления в печати.

“Заряжай стихи!”

Литературная группа конструктивистов появилась ещё в 1922 году — поэт Сельвинский, критик Зелинский. Тогда любили создавать литературные банды, чтоб жизнь оборачивалась веселей и звонче. Нужна была боевитая смена сошедшим на нет футуристам и понемногу теряющим пыл имагинистам. И Лефу, конечно (под которым зачастую тоже понимались футуристы). И доброй дюжине других малосильных группировок.

Сельвинский пояснял: “Каждая из групп занималась только одной гранью стиха: имагинистов интересовала исключительно метафора... футуристы утверждали агитку и пытались истребить все другие жанры, как контрреволюционные, поэтому я начал сколачивать свой “изм” и, вернув им единство, заставить подчиняться доминанте содержания”.

Коммунистический призыв “Техника в период реконструкции решает всё!” — был воспринят конструктивистами буквально.

“Конструктивизм есть центростремительное иерархическое распределение материала, акцентированного (сведённого в фокус) в предустановленном месте конструкции”, — было объявлено в декларации “Знаем” (“Клятвенная конструкция конструктивистов-поэтов”).

Зелинский писал в статье “Госплан литературы”: “Конструктивизм рождался в атмосфере нашего нового своеобразного “Советского западничества”.

В чём содержалось их западничество? Помимо того, что как таковой конструктивизм изначально появился на Западе, российских конструктивистов привлекала американская деловитость, эстетика высотных мостов и небоскрёбов, которые они видели на картинках: всё это они желали так или иначе наложить на русский революционный размах.

“Будущий динамизм будет продуктом величайшей технической нагрузки, — говорил Зелинский, — величайшей эксплуатации вещей. Он заменит трамвай более удобной системой движущихся тротуаров. Он сделает дома поворачивающимися к солнцу...” (Движущиеся тротуары, кстати, потом появятся в ранних вещах братьев Стругацких.)

Первый конструктивистский сборник “Мена всех” — вышел в 1924 году ещё без Луговского.

Группу переименовали в ЛЦК: Литературный центр конструктивистов.

Осенью 24-го к ним примкнула поэтесса Вера Инбер и ряд других товарищей. Скоро появятся Всеволод Багрицкий.

Луговской свёл знакомство с конструктивистами в начале 25-го.

Он только-только начинал — ему нужна была своя задорная компания.

Между прочим, Луговской приятельствовал тогда с поэтом, анархистом, бывшим партизаном, соратником Щорса Дмитрием Петровским — тем самым, о котором Велемир Хлебников во время Гражданской войны писал: “Как Петровский?! Неужели тот самый, который по Москве ходил в чёрной папахе, белый как смерть, и нюхал по ночам в чайных кокаин? Три раза вешался, глотал яд, бесприютный, бездомный, бродяга, похожий на ангела с волчьими зубами. Некогда московские художницы любили писать его голого. А теперь воин в жупане цвета крови — молодец молодцом, с серебряной шашкой и черкеской. Его все знали и, пожалуй, боялись — опасный человек... В свитке, перешитой из бурки, чёрной папахе... он был сомнительным человеком большого города и с законом был не в ладу”.

Петровский вечно был полон сокрушительных идей, собирался выкладывать тысячи на новый литературный журнал, создать с молодым товарищем собственное издательство, Луговского воспринимал как младшего брата и, может быть, оруженосца (кстати, и в прямом смысле — у Луговского хранилась серебряная шашка, которой Петровский был награждён в Гражданскую). Давал ему по сто поручений за раз, в основном касающихся того, куда переслать или пристроить рукописи Петровского, а также: “Пойди к Марийке, возьми у неё моё пальто, шляпу зимнюю и калоши и вышли мне посылкой на Гаспру”. Писал ему письма, где мог себе позволить острить, например, так:

“Владимир Александрович Луговской! Если Вы не ответите мне немедленно на моё последнее письмо, я вызову вас к барьеру!”

В общем, Луговской достаточно быстро, но бережно эту дружбу свёл к минимуму. Он был совсем не резкий человек, но собой манипулировать не позволял.

Одновременно Луговской вошёл в товарищество поэтов при издательстве “Узел” – к товариществу имели отношение Пастернак, Зенкевич, Парнок, Бенедикт Лившиц, множество молодых сочинителей, туда заходил Булгаков – читал “Роковые яйца” и “Собачье сердце”; заседания товарищества иногда проходили дома у Луговского. . . Но отдельной боевой идеологии у товарищества не было. (Спустя пару лет Луговской пренебрежительно охарактеризует “Узел” в письме жене как “манную кашу с подливой из тухлых яиц”. Боевого задора ему в этой компании категорически не хватало.)

В Лефе собрались слишком взрослые, слишком опытные, они бы задавили одними своими тенями (Маяковский, Асеев, Третьяков, Каменский).

“Едва ли мне сойтись с акмеистами”, – записывал Луговской в дневнике. (Судя по всему, имея в виду не собственно акмеизм, как литературную группу, уже распавшуюся, а тех, кто когда-то числился акмеистом: скажем, Мандельштама или Зенкевича, которого знал лично).

Пролеткульт был явно не по части Луговского (какой он, по совести говоря, пролетарий?).

В общем, конструктивисты подходили больше всех.

Сам он, немного ошибаясь в датах, напишет позже, что попал в сети конструктивистов в 1926-м, группа привлекла его “высокими требованиями к технике стиха и . . . молодой агрессивностью. . .”

Требования к технике – это близко Луговскому, а молодая агрессивность – важна ему вдвойне. Надо же “делать нос”. И в жизни, и в сочинительстве он будто бы задался целью преодолеть свою врождённую, отчасти унаследованную по линии дедов-священников доброту и открытость.

В октябре 1926-го, тиражом 700 экземпляров, выходит первая книга Луговского – “Сполохи”. Издана она была на свои деньги как раз в издательстве “Узел”, где тогда же были опубликованы книжки Пастернака, Сельвинского, Зенкевича и Павла Антокольского, который станет на многие годы ближайшим другом Луговского.

С техникой в “Сполохах” всё в порядке; тут напрашивается поправка, – всё в порядке в ущерб смыслу, – но нет, это не так. Например, потому, что высокая техника может подтянуть содержание: в правильно придуманном стихотворении необычная рифма или отлично пойманный ритм подстёгивают мысль. У Луговского зачастую так и получалось.

А вот западничества в “Сполохах” нет никакого – напротив, Луговской совершает здесь родственный есенинскому (Есенина образца начала 20-х), прорыв, который мало кто отметил: когда почвенничество настояно не на нарочито элементарной форме (которая отчего-то станет на весь последующий век для почвенников нормой), а на форме изощрённой.

Первое стихотворение – “Ушкуйники” – посвящено отцу, речь идёт об Онеге, о русском Севере: “И ты, мой товарищ, ватажник калёный, / И я, чернобровый гусярник, / А нас приволок сюда парус смолёный, / А мы новгородские парни”.

И дальше, в следующем стихотворении: “Дорога идёт от широких мечей, / От сечи и плена Игорева”.

(Позже Антокольский с доброй иронией вспоминал про Луговского: “В хорошую минуту он шутивно возводил свою генеалогию чуть ли не к языческому Стрибогу”.)

В дебютной книжке Луговской проводит чёткую силовую линию от Древней Руси – к революции: сполохи русской истории – пожар московский, Емельян Пугачёв, Нахимов и Севастополь, и так далее – вплоть до красногвардейской атаки на Каппеля. Собственно говоря, Луговской сразу занялся тем, к чему большевики придут только в самом конце 30-х: он поженил русскую историю на русской революции.

Конструктивисты приняли Луговского с восторгом: такой молодой козырь сразу угодил в колоду.

Зелинский писал о Луговском: “Он самый ортодоксальный и самый последовательный, он более чёткий конструктивист, чем сам Сельвинский”.

Сельвинский, подписывая Луговскому свою шумевшую поэму “Уляла-евщина”, вывел на форзаце: “Помните, что на вас делается ставка, переключите эту поэму”.

Перекрыл ли, нет Луговской отличную поэму Сельвинского – пока не важно, важно, что шумной известностью своей он вскоре затмевает многих конструктивистов и в самые краткие сроки перестаёт уступать старшим товарищам. В первую очередь Сельвинскому и Багрицкому.

В 1926 году появляется его “Песня о ветре” (сначала она называлась “Обречённый поезд”): “Итак, начинается песня о ветре, / О ветре, обутом в походные гетры...” – стихи классические, одни из лучших в советской поэзии.

И пошло-поехало: стихотворение непрестанно читали на радио, разучивали для устных выступлений на всех площадках страны, цитировали, ставили в пример, заодно и Александр Архангельский написал пародию.

Второй сборник – “Мускул” (1929), куда и вошла “Песня о ветре”, подтвердил взятый этим стихотворением вес.

Коммуна, работа, прощание с юностью, “звёздами осыпанная ночь / придёт к тебе любовницей огромной” (Луговской писал ночами) – естественное влияние Маяковского, много стихов о Гражданской, о продотрядах и о Кавказе (с лёгким влиянием Николая Тихонова), об испанке, о десятилетиях революции (в основном сборник написан в 27-м), “Товарищ, заряжай стихи! Вся власть весне!”. В строках – “Когда мы наклоним шашачные головы, / И, ритм коммун материкам суля, / Славянами, кавказцами, тюрками, монголами / Начнёт полыхать покатая земля”, – слышны “Скифы” Блока.

С одной стороны, подобной поэзии в те годы было много, с другой – Луговской оказался одним из первых, кто интонации старших собратьев положил на юную, ломкую, стопроцентно искреннюю мелодику.

То ли ты оседлал время, то ли время оседлало тебя – в любом случае, вперёд.

Наглядно современные “конденсация сил” и “фокстрот” органично соседствует в сборнике с народными стилизациями – “Девичья полночная” и “Отступление колчаковцев”.

Декламативность и некоторая дидактичность используются как нарочитый приём. Поэт не столько верит в то, что говорит, сколько говорит о том, во что хочет поверить.

“Жизнь моя, товарищи, питается работой. / Дайте мне дело пожестче и бессонной. / Что-нибудь кроме душевных абортков – / Мужское дело, чёткого фасона. / Честное слово, кругом весна, / Мозг работает, тело годно, – / Шестнадцать часов для труда! / Восемь для сна! / Ночь – свободных! / Хочу позабыть своё имя и званье, / На номер, на литер, на кличку сменять. / Огромная жадность к существованью / На тёплых руках поднимает меня”.

От огромной жадности к существованию – до огромной невозможности жить, как вскоре подтвердит Маяковский, расстояние – один шаг.

Многоэтажный бровеносец

Непрестанная весна и весенняя слава, кружит голову Луговскому. Женщины, конечно же, появляются – они тоже символ весны не меньший, чем воспоминания о колчаковцах, будённовцах и продотрядах. Всюду поклонницы, от них не убежать, особенно если не хочешь убежать.

Итог: обожаемая жена – Тамара Груберт – в 1929-м подаёт на развод.

Удар сильнейший – Луговской всё это переживает более чем болезненно. Когда такая весна вокруг – всё же должно прощаться! Или не всё?

В общем, в том же году он женился на Ольге Алексеевне Шелконоговой, дочери фабриканта.

Иногда пишут, что брак был фиктивный – нет, это ошибка.

Они – венчались, чего от них никак не требовалось. Луговской, у которого оба деда были священниками, значение венчального обряда понимал.

Но спустя считанные месяцы Луговской собирается вернуться к Тамаре, и с Шелконоговой прощается “навсегда” – о чём отчитывается Груберт в письмах. Рассерженная тем, что Володя возвращается слишком медленно, Тамара обвиняет его в “трусости”. Луговской объясняется: я уже поселил в своей квартире Ольгу Алексеевну (он так и называет свою вторую жену, по имени-отчеству), и не мог её выгнать столь стремительно – “как элементарно поря-

дочный человек и друг женщины”. Поэтому ждал, когда она уедет с “экскурсией друзей попутешествовать”.

Мелодрама! И заодно, как водится, квартирный вопрос.

Хотя не только это: “Проходившая тогда у неё чистка и доносы на неё как на дочь крупного буржуа, — пишет Луговской первой жене, — заставили меня помочь ей, т. к. на чистку она явилась как жена пролетарского писателя — т. е. до отъезда я не оформлял развода”.

В этом уже есть определённое, — да что там, — даже очевидное благородство. Он прикрывает свою мимолётную и по сути уже бывшую жену, легко ставя на кон свою едва начавшуюся, но такую звонкую карьеру.

Одновременно он пишет Тамаре: “Мне нужно всё — или ничего... Мне нужна ты вся... Я хочу тебя видеть как венец своего мира, как высшую моральную силу и высшую правду. Дай ответ, полный и конечный. Иди ко мне со всей силой и нежностью твоей природы”.

Она не идёт.

Разлад с обожаемой женщиной и вся эта низкая круговерть едва не становятся причиной для самоубийства Луговского. По некоторым косвенным данным, попытка суицида имела место. Оказалось, что жизнь тоже умеет “натягивать нос”.

В архиве Луговского сохранился листок следующего содержания:

“Основания для самоубийства:

- 1 — Она ушла
- 2 — Денег не занять даже у (нрзб.)
- 3 — Она опять-таки ушла
- 4 — Она ушла и значит всё кончено
- 5 — Меня невозможно читать
- 6 — Редакторы весь роман исполосатили
- 7 — Домком применяет особый нажим
- 8 — Она ушла, обозвав меня писателем”.

Всё это — домком, редакторы, она ушла — было бы смешно и напоминало бы то ли эпизодического героя Ильфа и Петрова, то ли персонажа Михаила Булгакова — но ничего смешного здесь нет, конечно.

Далее на том же листке Луговской записывает:

“Сомнения (?) затруднения:

- 1 — Револьвер не дают из простого опасения
- Рельсы уродуют лицо и организм
- Петля — не (нрзб.) у Сергея Есенина
- Для принятия яда — (нрзб.)”.

Обратите внимание — даже эта записка, которая вполне могла стать предсмертной — неизбежно выдаёт поэта. Если четвёртая строка завершается чем-то вроде “клизм” — то перед нами готовое, случайно сложившееся, четверостишие — срифмованное, организованное ритмически и стилистически.

И, наконец, третья часть записки:

“Возражения против:

- 1). Исключительно весело
- Желание есть
- Потребность сна
- Всё-таки я буду писателем...”

Посыл финальной части записки естественным образом берёт своё.

Выспался, позавтракал в ресторане на неожиданный гонорар, плюнул на безденежье — и рванул дальше в жизнь, на публику, на сцену.

В конце 20-х Луговской уже всероссийская звезда. В газетах пишут, что ему сомасштабен только Пастернак. Луговской, к тому же, умел себя подobaюще нести, о чём наперебой рассказывают все мемуаристы.

Кто это у нас написал такие прекрасные стихи? Неужели вот этот красавец? Боже ж ты мой!

Лев Левин, цитата: “Увидев Луговского, мы сразу были покорены. Да, он выглядел именно так, как и должен был выглядеть автор “Мускула”. Высокая и стройная фигура, широкие плечи, густые, гладко зачёсанные назад, блестящие волосы, просторный пиджак, показавшийся нам неслыханно элегантным, узкие бриджи, пёстрые спортивные чулки”. Это 29-й год — и 28-летний Луговской кажется студентам взрослым, огромным.

Будущий поэт Александр Межиров увидел Луговского совсем ребёнком

и запомнил на всю жизнь: “Он стоял на сцене, высокий и сильный. Неслышанно красивый. С гордой головой. Весь “слажен из одного куска”. И в четверть прекрасного голоса (настоящая октава) свободно читал великую поэму войн и революций “Песню о ветре”. В зале стояла тишина, как при сотворении мира. Я не мог поверить, что всё это на самом деле.

Няня сказала мне: красиво поёт. Наверное, из храма перешёл” (И почти угадала).

Эдуард Бабаев: “Он был гигант в сравнении с другими, как будто вышел только что из свиты Петра Великого”.

Поэт Лев Озеров: “Я видел его на Петровке. Был летний, очень жаркий день. Луговской не шёл, а плыл в своём ослепительно-белом костюме, как линкор среди лодок и парусников.

Мне он казался многоэтажным”.

Поэт стремительно получает прозвание: броненосец советской поэзии.

У него были, помимо роскошного голоса, роскошной осанки, роскошной жестикуляции (даже Евшушенко десятилетия спустя застал его “древнегреческие вздымания рук”), роскошной гривы — ещё и роскошные брови. Поэтому “броненосца” скоро переделали в “бровеносец советской поэзии”. Что, собственно, придало образу лишь некоторый трогательный оттенок.

Кукрыниксы уже в 20-е рисовали шаржи на него (с этими самыми бровями, схожими до степени смешения с гривой Пегаса, которого мощно держит за узду Луговской). Их рисунки тоже признак успеха необычайного. Да что там Кукрыниксы — даже Владимир Маяковский рисовал на него шаржи чуть позже.

... Что до любимой Тамары — то Луговской не теряет надежды её вернуть.

Именно ей он отчитывается во всех поездках — как жене, как самому близкому человеку: “Вокруг меня крутятся десятки и сотни людей. Выступления — это нездоровая вещь. Эстрадный массовый успех, который мне так нравился, теперь даёт только ощущение нервной затруднительности. Приятно только работать и пробивать группу и себя. Успех конструктивистов и мой в частности более чем крупный. Молодежь тянется к чему-то новому, она жадно, судорожно читает те новые ритмы и свежие мысли, которые мне приходится бросать”.

Одновременно идут болезненные сигналы от власти: лидер ВЛКСМ А. Косарев неожиданно обрушился на конструктивистов, заявив, ни много ни мало, что литераторам поменьше нужно заниматься идеологией, а побольше хозяйственными вопросами: вы конструктивисты? — вот и занимайтесь реконструкцией в прямом смысле.

Критический голос Косарева был далеко не единственным.

Поэты озадачились поиском выхода. Смычка с властью искренне (и не беспочвенно порой) казалась не конформизмом, а соответствием эпохе.

Домны и поросята

В 1929-м, пасмурном и сложном, и одновременно, по собственному замечанию поэта, “весёлом” году Луговской начинает понимать, что лучший способ, чтобы принять решение (или сбежать от решения) — это уехать куда-либо.

Для начала: рудники, заводы и фабрики Урала и Ростовской области.

20 мая 1929 года “Литературная газета” сообщает: “Сегодня в 10 часов вечера с Северного вокзала уезжает на Урал первая группа писателей”.

В составе первой советской писательской делегации были литераторы из МАПП (“Московская ассоциация пролетарских писателей”), “Кузницы” и примкнувшего к ним конструктивиста Луговского. Косарев сказал — писатели приняли к сведению.

Разъезжать по стране и смотреть на бурное социалистическое строительство (мы несколько не иронизируем — шло масштабное строительство) Луговскому понравилось. Детская страсть к географии и путешествиям получила неожиданную возможность реализации — и Луговской воспользуется этой возможностью, как мало кто другой.

Сестре Татьяне сообщает в мае 29-го из Свердловска: “Я здорово устал в Москве. Внутри меня все сломано и разрушено. Прошла неделя, а я всё ещё продолжаю находиться в фантастическом мире забвения с минутными грозно-

болезненными ударами сердца... Я опять удираю от судьбы, от всего на свете в стук поезда, в дорожный хохот товарищей, в ночевки, в столовки, в выступления, аплодисменты, к доменным печам, к плавящейся стали...

Характерно, что в те же дни он пишет о том же Тамаре Груберт, но чуть иначе: "Идут непрерывные огромные еловые леса. Скалы, как замки башенные, изглоданные временем. Закаты тревожные, азиатские, представляешь себе закат из шатра Ивана Грозного в рериховском этюде.

Свердловск американизируется, как бешеный. Все изрыто: по мостовым нельзя проехать – строят трамвайные линии, проводят канализацию и водопровод в новые кварталы. Бесконечные стройки, леса, цементная пыль, которая несётся тучами по всему городу. Выстроены колоссальные здания среди домишек и пустырей. Новые пяти-шестиэтажные дома в коробчатом стиле поднимаются всюду. Мы остановились в гостинице "Централь" (6-й этаж, Европа!), выстроенной в этом году. Она побьет лучшие московские. Ресторан, почта, телефон, киоски, холл, биллиардная, ванны и пр. Обстановка прекрасная. Но тротуаров возле этого великолепного дома не имеется.

Со всех сторон огромные заводы. Среди города – озеро-пруд, красивый, но дико грязный. Тут же, черт знает почему, какое-то паровозное депо!

Был в Ипатьевском доме, где расстреляли Николая II. Дом белый, под горкой, купеческой архитектуры. Теперь там музей.

<...> Будет большой вечер в городском театре <...> Настроение города – энтузиастическое строительство, гордятся Уралом, планируют, проводят кампании. Все заняты нефтью, которая забила в Чусовских самородках.

Пока у меня продолжается реакция. Оставшись наедине с собой в чужом месте, я ещё ярче заметил некоторые перемены, происшедшие во мне".

И следующее письмо, ей же, из города с характерным названием Надеждинск, самой крайней северной точки их маршрута: "Вот я и погрузился с головой в незнакомый мне мир мартенов, вагранок, рельсопрокатных, литейных и механических цехов, газогенераторов, динамо, рабочих казарм, гари и грохота. Конечно, когда в трёх шагах от тебя из чудовищной утробы земли льются тысячи пудов белого, ослепительного чугуна – это перевёртывает всю психику наизнанку. Ты кричишь – и ничего не слышно, ты задыхаешься в сатанинской жаре, которая оседает на теле какими-то хлопьями, ты хочешь познать брата своего – человека и видишь страшные лица морлоков в проволочных масках и смертных асбестовых халатах. А чугун, сталь, железо в домнах, мартенах, Вильмановых печах свистит и воет, сквозь синие очки видно, как пляшут где-то далеко и глубоко в глотке печи языки и волны могучего расплавленного металла...

Мы уже три дня в Надеждинске. Он много севернее Тобольска. Зимой сюда приезжают зыряне – самоеды. Завод – гигант, над городом облако дыма из труб. Всюду стройка, груды щебня и опилок. Мы работаем с утра до ночи. Я обхожу цеха, корпуса, рабочие поселки, занимаюсь со всеми, исписываю блокноты, даю консультации, обследую, веду тысячи разговоров, лезу под самую морду всех печей и станков, со звериной жаждой глотаю всё виденное и испытанное. Вечером – выступления, записки, опять беседы, наконец, измученный, сажусь подводить итоги...

Любопытно, как чувствующие и мыслящие люди объяснялись тогда в своих чувствах: "Каждую ночь я вижу тебя во сне. Доменные печи и электрические молоты, тяжелый и трудный быт углубили и по-иному закалили и воспитали то, что ты знаешь о моем исключительно остром и всеобъемлющем чувстве... Мне хочется, чтобы всё, что я буду видеть бывшего, важного и значительного – видела бы и ты..."

Прежде чем скривить лицо, читая эти строки, не будет лишним вспомнить, а что воспитало наши чувства, что их закаляет...

Вернувшись, Луговской принимает знаковое решение. В его понимании товарищи конструктивисты не могут отвечать великой повестке дня в полной мере – нужно, нужно делать ещё один шаг навстречу большевикам и господствующему классу.

А именно: искать пути в РАПП – в Российскую ассоциацию пролетарских писателей, главенствующую (и самую агрессивную в своём главенстве) на тот момент в советской литературе организацию.

Не скажем, что решение далось легко. В ЦГАЛИ хранится отпечатанный на машинке текст письма, которое Луговской хотел отправить (и не отправил)

в «Литературную газету»: «Прошу сообщить, в связи со слухами о моём переходе в РАПП, что пока в намерения мои это не входило».

И далее, от руки: «Моё примыкание к литературной школе конструктивизма отнюдь не может помешать мне служить своим творчеством делу пролетариата».

Или всё-таки может? Не одного Луговского мучает вся эта ситуация – когда неистово преданный революции поэт одновременно находится как бы на обочине литературного процесса.

В феврале 1930 года Луговской и Багрицкий всё-таки вступают в РАПП. Одновременно в РАПП вступает Владимир Маяковский. Мощное трио: от таких гигантов должна палуба проседать – но в РАППе это, в целом, восприняли как само собой разумеющееся. Рапповцы давно убедили себя, что ухватили советского бога за бороду.

Для Сельвинского, как позже скажет один мемуарист, уход Луговского стал «страшной невосполнимой потерей» – куда большей, чем уход Багрицкого. Это мы теперь можем думать – какие-то литературные группки, буря в стакане воды – а там была жизнь, эпоха, история!

Группа конструктивистов самораспускается под давлением обстоятельств.

Корнелий Зелинский, с которого всё и начиналось, изобретательно кается в журнале «На литературном посту»: «Конструктивизм в целом явился одним из наиболее ярких обнаружений в литературе классово враждебных влияний».

В те же дни 30-го года другой конструктивист – Борис Агапов пишет Зелинскому в письме: «Мне жалко только, что мы капитулировали, а не закрылись с треском, свели на нет, а не взорвались, «наобещали и уехали». Нечего было обещать, ну их к лешему. Я не верю в бригаду ни на йоту... «кружок просвещённой молодёжи» – ЛЦК – лопнул к концу 20-х годов нашего столетия».

Случай Луговского в контексте всей этой проблемы чуть сложнее. Ещё в 1929 году у него появляется стихотворение «О друзьях»: «Вы, ощерив слова и сузив глаза, / Улыбались, как поросята в витринах. / Потом, постепенно учась на азах, / Справляли идейные октябрины».

Мужчины из числа ЛЦК смолчали, сделав вид, что не поняли, о чём тут говорится, а Вера Инбер позже призналась: «Поросята – это были мы, конструктивисты. Дальше идёт речь о «небольшом враге», «сусликах», «индивидуалистах-приспособленцах» и «мелкобуржуазной интеллигенции». Всё это были мы. Со всем этим, как выяснилось впоследствии, при его вступлении в РАПП, Луговской вёл борьбу».

Ирония Инбер понятна и отчасти оправдана, хотя стихотворение, конечно, загребает глубже и касается далеко не только конструктивистов. Если и говорится там о них, то ровно в том месте, которое Инбер отчего-то не захотела отметить; цитируем: «Вы стали бранить москошвейные штаны / И на Форда лить вежеталь восторга. / Вы видели ночь, а не день страны / И не слышите, что говорят на Востоке».

Луговской не отругивался от констров (так они называли друг друга) постфактум – он, ещё находясь в центре группы, объявляет о неприятии как раз того западничества, о котором на заре конструктивизма писал Зелинский.

Зелинский, допускаем, говорил о западничестве не как о бытовой идеологии, но как о подходе в ремесле; однако Луговскому ситуация отчего-то виделась иначе.

В любом случае это позиция не случайная у Луговского, но, напротив, осмысленная и характерная для него с первых строк.

Так что, все эти метания упрощать не стоит, сводя к одной или другой причине: там было сразу всё – и давление эпохи, и желание выйти из-под этого пресса, и восторг при виде великих и очевидных преобразований – «психика наизнанку!» – и требовательное, может быть, даже ревнивое чувство кровной причастности к русской истории, и личные отношения с друзьями, и тщеславие тоже – куда без него.

...А с РАППом Луговской всё равно прогадал.

Жюльверн-младший

22 марта 1930 года писательская бригада в лице Луговского, поэта, и прозаика Н. Тихонова, поэта, в прошлом редактора журнала «Октябрь» Г. Санникова, писателей Вс. Иванова, Л. Леонова и П. Павленко отправилась в Туркменистан.

Несмотря на то, что поездка первой писательской делегации на Урал уже состоялась в прошлом году, в советском литературоведении принято отсчитывать традицию писательских бригад с туркменского путешествия. Сказался, видимо, и более весомый состав этой бригады и неожиданный творческий результат поездки – каждый из участников в итоге написал едва ли не по тому сочинению, так или иначе связанных с Туркменистаном.

Накануне поездки сидели в ресторанчике Дома Герцена – Луговской, Тихонов и писатель, участник Гражданской Пётр Павленко. Подошёл Маяковский, поинтересовался в своей манере, что тут за сговор происходит.

Вот, отвечают, в Туркмению собрались – прийти, увидеть, описать.

Маяковский засмеялся: теперь под каждой пальмой в Туркмении будет гора черновиков и разорванных рукописей.

То ли он правда думал, что в Туркмении растут пальмы, то ли валял дурака. Скорей, первое.

Сказал, что тоже хочет поехать, но много дел, много дел.

К подобным поездкам много позже стало принято относиться иронично: но какая, товарищи, ирония? Страна обратила внимание на свои окраины, отправила туда лучших мастеров и лучших литераторов – чтобы глубоко отсталую с точки зрения быта азиатчину, вместе с тем обладающую богатейшей культурной традицией, – вписать в контекст новой жизни, огромного строительства, единого пространства.

Потом эти бригады начнут колесить по всем окраинам и стремительно сделают колоссальную работу, которую до тех пор, в таких масштабах – точно, никто делать не собирался. В конце концов, Маяковский – и тот предполагал, что в Туркмении растут пальмы, что уж говорить об остальных.

Через пару десятилетий страна будет иметь целую библиотеку национальных литератур, собранную и переведённую в том же стремительном ритме, в каком шёл промышленный рост.

Туркменская бригада, как было подсчитано, проделала свыше 2000 вёрст по железной дороге, 800 вёрст на машинах, 250 вёрст по воде – на каюках и лодках по бурной Амударье, и ещё неучтённое количество вёрст в седле – по горным перевалам Копет-Дага и Гиндукуша.

В Туркменистане вовсю шла коллективизация. На границах периодически возобновлялась война с басмачами. Глава туркменского сопротивления обещал в своих листовках каждому погибшему в борьбе с большевиками пост председателя райкома... в рай. Женщин, собравшихся учиться и становиться полноправными гражданками СССР, время от времени убивали. Памятник Ленину в Ашхабаде был зелёный – такой местные умельцы выбрали состав бронзы, пообещав, что со временем вождь потемнеет; а пока Ленин удивлённо стоял в зелёном пиджаке и зелёных штанах, стеснительно скомкав кепку. В общем, колорита хватало.

Луговской сдружился с Тихоновым, Леонов – с Всеволодом Ивановым. Проведя в Ашхабаде неделю, ряд поездок советские литераторы совершали уже не полным составом, а малыми группами.

Каждый искал себе тему, которая зацепит. Леонов уже в Ашхабаде заинтересовался местными сражениями с нашествием саранчи (об этом он и напишет отличную повесть в том же году), Санников задумал поэму о хлопке (и будет поэма), Иванов и Павленко впоследствии выдадут по несколько прозаических вещей, Тихонов же с Луговским сразу поделили басмачей – первый взял себе туркменских, а второй – бухарских (впоследствии Луговской будет присутствовать при ликвидации Курбаши Ибрагим-бека, непримиримого борца с русскими).

Тихонова и Луговского за их страсть к непрерывным поездкам вдоль и поперёк Туркменистана в компании тут же прозвали Жюльверн-старший и Жюльверн-младший.

Луговской писал сестре Тане: “С 28 по 6 апреля дни были заполнены совершенно чудовищной работой. Нам читали лекции, демонстрировали кинофильмы, устраивали заседания и банкеты. Принимали нас предсовнаркома и председатель ЦИК и секретарь ЦК партии. Нас снабдили литературой о Туркмении по пуду. Читать – записывать, ездить, осматривать без минуты отдыха... За это время мы были в Фирюзе и Гаудане (персидская граница), Анау (мёртвый город с остатками потрясающей мечети), Багире (крепость парфянских царей эпохи Александра Македонского), Безмеине (колхоз),

Мерве, Кунгуре (колхоз). К Анау ехали на автомобиле по пустыне, подталкивая где нужно руками машину.

Завтра выезжаем в Кушку – на афганскую границу. Оттуда к белуджам, которые переселились из Индии и вождь которых Керим-Хан чрезвычайно интересен. Равно мы будем и у других племён, переселившихся из Афганистана и Индии. Затем в Иолотань, Чурджуй, оттуда воздухом в Хиву и Ташауз. Посетим и другие оазисы. Материал невероятный. Нам предоставляют всё, никто ещё не видел страну, как мы”.

Тихонов в Туркмении уже бывал, и радовался, какое впечатление эта земля производит на Луговского: “Он влюбился в неё бурно, сразу, как влюбляются с первого взгляда”.

В апреле Луговской пишет Тамаре: “Сейчас мы с Тихоновым откололись от бригады и ведём самостоятельную работу <...> Семь дней мы пробыли на афганской границе в районе Кушки. Жизнь крепости. На расстоянии тысяч квадратных километров живут только афганцы, дженшиды – выходцы из Индии. Проехал верхом 100 вёрст по афганской границе. Видел афганский городок. Шли бесконечные караваны. Ночевки у афганцев-дженшидов. Пограничные посты, контрабандисты и разбойники. Снеговые вершины Пара-Памиза и Гиндукуша. На весь горизонт моря, озёра красных тюльпанов. Видели горных козлов, джейранов, гиен. Встретили очковую змею. Одна ночь была такая, что я совершенно спянул с ума – 75 км фисташкового леса. Колокола караванов. Афганцы в чёрных жилетках, шитых серебром, с длинными курдюками. Ковры и фаланги.

Потом район Иолатани. Верхом 54 версты к Керим-хану. Уцелевший феодал – вождь белуджей (25 000 человек из Британской Индии). Шатры в пустынных степях. Колоссальная чёрная палатка хана. Телохранители. Угощение на коврах, длинейший пир с рассказами об охоте, винтовках, конях и перестрелках. Живописные костюмы свиты и младших ханов. Дикая помесь советизации и феодализма. Четыре жены (одна очень красивая) во второй половине палатки. Охота вечером. Ночевали в особом для нас шатре на коврах и сунанах. Вся ночь горел светильник. У входа спали двое стражей с винтовками. Силуэты верблюдов на звёздном небе. Ночью стук копыт каких-то всадников и песня мальчика. Утром – опять плов, кок-чай, пити (кушанье), охота, стрельба в цель, фотографирование. Уехали в 2 часа. Скакал как сумасшедший. Подстрелил орла. Хан подарил мне свою плеть (камчу). Озёра красных маков, подснежников и ещё каких-то неизвестных цветов. Здесь лето.

Гигантские плотины Мургаба. Огромные озёра весенних вод. Десятки белых цапель. Миллионы птиц. Черепахи на каждом квадратном метре.

<...> Я одичал страшно. Загорел и поздоровел. Буквально нет свободной минуты. На ногах – мозоли от седла”.

Однажды пересекали пустыню на конях, им выдали оружие, которое могло пригодиться. По пути им снова попались белуджи-кочевники, но эти слишком подозрительно и навязчиво смотрели на Луговского: у того висела на плече хорошая английская винтовка. Едва расстались, местный провожатый посоветовал прибавить ходу – кочевники признали своё оружие, которое забрали у их убитого соплеменника во время одного из боёв. Мчали, ожидая погони.

Тихонов писал потом, что под утро Луговской “смотрел какими-то расширенными глазами, точно видел перед собой нечто необыкновенное...”

– Я ещё не знаю ничего, но я должен сказать – всё это мне безумно нравится... – признавался Луговской.

В поездке Тихонов не мог налюбоваться на Луговского. Тот оказался отличным и неутомимым наездником, – а Тихонов в этом знал толк: он был самый настоящий гусар и во время Первой мировой участвовал в конных гусарских атаках. Описывал Тихонов своего нового замечательного товарища так: “широкоплечий, с решительными движениями, строгий, подобранный, втянувшийся в трудную кочевую жизнь”.

В пустыне им встречались вараны, они передвигались – по остроумному, хоть и не совсем точному замечанию Тихонова – “как заведённая модель крокодила”.

Когда воссоединились с бригадой – началась выступления. Один раз добирались на грузовике всей командой к месту очередного митинга – на мосту под колёсами рассыпался настил из брёвен, грузовик съехал за край и завалился прямо на крону огромного дерева, ежесекундно рискуя обвалиться

с пятидесятиметровой высоты. Выбирались из кузова по одному. Последним шагнул на землю Тихонов – через миг грузовик рухнул вниз.

... Это была бы потеря для советской литературы, когда б разбились все... Ночью тарантулы бегали по одеялам, к ним привыкли.

Однажды угодили в самум – большую палатку на шестерых унесло мгновенно, её потом так и не нашли; было по-настоящему страшно, но всё обошлось.

Другой раз, пишет Луговской, “скача по развалинам великого Мерва, на полном карьере, один, провалился в какую-то могилу или чёрт знает что, но лошадь вынесла”.

На встречах и разнообразных посиделках Луговской много пел, он это замечательно умел делать – причём Тихонов говорит, что не только чужие песни исполнял, но и свои стихи на собственные мелодии.

На месте эти двое усидеть не могли никак, и в любой свободный час отправлялись куда угодно – к развалинам, в пески, к новым людям.

Были у одного зоотехника, он рассказывал о своём туркестанском житье, его жена в разговор не встревала, но уже потом, когда прощались, кто-то из поэтов спросил женщину: как вам тут, не скучно? а газеты читаете?

Она говорит: да нет, не скучно, газеты читаем, но с опозданием. Вот вчера пришла газета, какой-то там у вас умер... как его?... Каковский, таковский... Маяковский! Не знаете?

... Шли к месту ночлега ошалевшие от новости, никак не умея поверить в случившееся. Кто-то забрал с собой газету, нёс её в руках, сжав.

Маяковский являлся, наверное, важнейшим поэтом той поры для Луговского. Кумиром юности был Блок (и его влияние сохранилось на всю жизнь). Затем – влюблённость в Гумилёва (и эта чувство тоже не исчезнет многие годы). В 20-е явился в полный рост Маяковский – масштаб его был очевиден многим.

Недаром вождь конструктивистов Сельвинский оспаривал именно Маяковского и претендовал на его место.

Луговской, надо сказать, никогда не страдал зудом пошатать чужие авторитеты.

... Проговорили всю ночь о нём.

Остальная часть бригады уехала в Москву намного раньше Жюльверна-старшего и Жюльверна-младшего. Луговской с Тихоновым собрались в сторону большой России только в конце мая. В итоге получилось два месяца путешествия.

Незадолго до отъезда их в очередной раз куда-то унесло, рисковали опоздать на поезд. Рванули в ночь по ущельям.

Грузовик-полутонка, Луговской сел на платформу, “прямо на пол, – рассказывал Тихонов, – отдав себя на растерзание бешеным броскам машины, причём единственное, что он предпринял в защиту себя, – это пропустил под руки верёвки, охватывающие стенки грузовика, и стал похож на спускающегося на парашюте человека, запутавшегося в верёвках парашюта и прыгающего безостановочно с дерева на дерево”.

“... тряска стала невероятной. Мы въехали в белые лунные скалы”.

Путешественников всю дорогу мучили видения. Тихонов, который уселся с водителем, сначала увидел, как машина едет в пропасть (что, опять?) – едва не закричал – оказалось, что здесь так падают тени, что от пропасти их чёрные языки не отличишь. Сама пропасть, между тем, была совсем рядом, и водитель непрестанно просил слушать, не свистят ли тормоза – на этом пути даже днём сорвалась уже далеко не одна машина.

Потом на дорогу выскочил белый танцующий зверь. Тихонов протёр глаза. Оказалось, обычный заяц.

Затем явилось другое животное, чёрное и торопливое, тоже похожее в свете фар на невесту что. Выяснилось, что всего лишь тушканчик.

Следом появились пляшущие голые люди возле костра с головнями в руках. Тёр глаза, но люди всё равно оставались и продолжали танцевать. Оказалось, это водители, не желающие пробираться по опасным ущельям в ночь, встали переждать до утра, разожгли огонь и отгоняют скорпионов.

Следом Тихонов увидел целую улицу, полную людей, и сквозь эту толчею ехал их грузовик. Что там в это время видел Луговской, Тихонов потом постеснялся спросить. Потому что никаких улиц среди этих скал быть не могло.

Еле добрались до какого-то селения.

Луговской, пишет Тихонов: “сошёл со своего мрачного ложа, разбитый и зелёный, и мы курили папиросы, как демоны глухонемые”.

“Шофёр не появлялся.

– Он умер, – сказал я.

– Он хитрит, – сказал Луговской. – Мы должны быть в Кызыл-Арвате, и мы будем. Я сейчас найду его. Подумаешь, Художественный театр.

И он ушёл на поиски, и вернулся через пять минут. В ночном киселе люди тонули, как иголки.

– Я испорчу ему сон, – сказал Луговской, и мы немедленно задремали сами, не успев привести в исполнение свою мысль.

Но спать мы не смогли. Я думаю, что и шофёр наш не сумел заснуть, ибо Луговской инстинктивно нажал грушу сигнала, и рёв разнёсся по всей Хаджи-Кале. Ему это понравилось. Он нажимал грушу, и та стонала и ревела, пока тыма не родила мятой и молчаливой фигуры шофёра”.

Тронулись дальше. Когда уже были на месте, “Луговской спал, повиснув на верёвках, как древний разбойник, умерший на кресте”.

Ответственный работник, встречавший их, отвёл Тихонова в сторону и спрашивает: улицу видели? Полную людей, да?

Тихонов молчит, боясь показаться дураком.

– А там все её видят, и я, слушай, каждый раз тоже вижу, – говорит ответственный работник. – Горы такие тут, да. Удивительные горы.

По результатам путешествия Луговской освоил социальный заказ и сделал хорошую, бодрую книгу “Большевикам пустыни и весны” (сначала цикл стихов под этим названием появился в седьмом и девятом номерах журнала “Октябрь” за 1930 год). Там почти нет следов вымученности, в отличие от тех бесконечных заказов, что ему ещё не раз – по собственной воле – придётся исполнять.

Тихонов, крепко полюбивший Луговского, посвятит ему два стихотворения, одно неплохое, а другое: “Я слово дал: богатства Копет-Дага...” – просто прекрасное.

Луговской в ответ посвятит Тихонову “Милиционера Нури” (так себе), и в 1939 году – “Горы” (хорошие стихи).

Ещё одно стихотворение Луговской посвятил Павленко.

Санникову, Иванову и Леонову эти двое ничего не посвятили.

С тех пор Луговской и Тихонов дружили целую жизнь.

Тихонов много позже с лёгкостью простит Луговскому то, чего многие другие не простят никогда.

Лошадиные дозы тревоги

В первой книге – всего их будет четыре – “Большевиком пустыни и весны” Луговской пишет:

“Я не ястреб, конечно, / Но что-то такое / Замечал иногда, / Отражаясь / В больших зеркалах. / Доктор / Мне прописал / Лошадиные дозы покоя, / Есть покой, / Есть и лошадь, / А дозу / Укажет Аллах”.

За сказанным стоит реальная жизнь Луговского: покоя он знать не будет подолгу, и осмысленно выберет жизнь кочевую и периодически сопряжённую с опасностью.

Зато Тамара его простит и примет. Женщины иногда ценят мужчин, которые рискуют головой. Ценят или жалеют.

В июле 1930 года было создано Литературное объединение Армии и Флота, куда Луговской немедленно призван и принят: имел все основания, армеец же.

По линии ЛОКАФ на крейсере “Червонная Украина” в октябре 1930 года Луговской совершает рейд по Средиземному морю – Турция, Греция, Италия. Заходили в Стамбул, Пирей, Неаполь, Палермо.

Беременная Тамара ждёт дома, он пишет ей: “Такой нагрузки, такой амплитуды колебаний не знал ещё в жизни. Главное – ведь это всё нужно вложить в мировоззрение. И над всеми морями и городами – ощущение рождения ребёнка и страдания рождения для тебя”.

“Вот я нахожусь в Сицилии, в горном городке Таормина, знаменитом своим греческим театром. Такой красоты я в жизни ещё не видел. Сзади дымится Этна. Приехал из Мессины”.

“Сейчас только возвратился из Акрополя. В Афины пришли вчера. Город весь в пальмах и лаврах. Прекрасные улицы, залитые феерическими огнями. Смешение всех языков. Отели, кафе. Отовсюду слышится танго – почему-то на всём юге только и играют танго. От этой щемящей музыки делается грустно. Пирей весь в озёрах огней. Под самой луной над городом плывёт Акрополь и холм Ликабетта.

Подземная дорога на площади Акипион выбрасывает толпы людей. Шумит грандиозное кафе, занявшее всю площадь. А вокруг этого светлого ядра бесконечные кварталы городской бедноты, трущобы.

Над городом три гряды гор – те самые, о которых мы с тобой слышали с детства, – Гимет, Пентеликон и Парнас в голубой дымке”.

“В последнем походе мы шли через Дарданеллы днём, мимо Стамбула и через Босфор вечером. Вместе с нами на рейде Пирея стояла Британская эскадра Средиземного моря. Когда мы уходили, было незабываемое зрелище – на всех британских гигантах были выставлены караулы и все оркестры играли “Интернационал”.

Луговской впервые был за границей.

В русской поэзии уже сложилась поэтическая традиция – подробно поведать о случившейся зарубежной поездке. Подобным образом отчитывались ещё до революции Блок, Кузмин, Гумилёв. За первое десятилетие Советской власти успели выехать Есенин, Маяковский, Мариенгоф, Тихонов – каждый предоставил цикл стихов по поводу, а то и книгу – кроме Есенина, которому долгий заграничный вояж наваял, ни много ни мало – один саркастический монолог Рассветова в “Стране негодяев”. Ну и в придачу дюжину злых писем и очерк о Нью-Йорке “Железный Миргород”, название которого говорит само за себя.

Луговской выдаст целую книжицу – “Европа”, стилистически родственную Маяковскому, немного пересушенную, немного публицистическую, но при этом неплохо сшитую и прозорливую.

“Асфальт городов твоих / Отполирован / Шинами машин. / В чёрных рубахах / Ребята чернобровые / Чванно несут фашизм”.

“В великопепных мозгах / Растит мировая усталость / Тощую амёбу – индивидуализм”.

“Два лица проясняются, / Каждое из них роковое, / Это – / Революция / И война”.

Из объявленной Луговским (хотя не только им, конечно) в самом начале 30-х повестки в целом и сложилась мировая жизнь на последующие полвека, а то и больше.

С января 1931 года Литературное объединение Армии и Флота начинает издавать свой журнал, Луговской становится членом редколлегии. Через два года журнал “ЛОКАФ” переименуют в “Знамя”.

У Луговского рождается дочь Мария (он будет её называть Мухой), но на упорядоченный семейный лад это его не настраивает. Вскоре у него появится новая женщина – Сусанна Чернова.

Весной 31-го Луговской снова в Азии. Сестре пишет, что “пересёк Узбекистан и Средний Таджикистан, был в Самарканде, Термезе, Сталинабаде, Кулябе, Дангаре... Я совсем военнизировался, хожу в пограничной форме, при шпалере... Жизнь на лошади”.

Случайно встретивший 30 апреля Луговского поэт Григорий Гаузнер записет в дневнике:

“Вчера приехал Луговской. Он едет как военный корреспондент в район действий Ибрагим-бека. Его авантюризм, наконец, получил реальную основу. Он бредит английским шпионажем и в каждом нищем видит Кима. Он дружит с чекистами, видит в этом шик, и смешно наблюдать, как мальчишеский романтизм этого пустого человека здесь обрастает мясом”.

Непонятно, чего в этой записи больше – сарказма – или некоторой даже зависти.

В “Автобиографии” Луговской скажет: “В моё творчество вошла ещё одна тема, – тема границы и славных пограничников”.

Впечатлений так много, что он собирается писать прозу (но так и не решится).

Когда летел в Самарканд — самолёт попал в аварию, были повреждены колесо и крыло. Аварии с какого-то момента будут сопровождать Луговского постоянно.

В этот раз командировка оказалась более чем серьёзной: фрагментарно он участвует в военных операциях, и шпалер при нём точно не только ради красоты. Несколько раз вспомнит потом, как хоронил товарища в пустыне, роя могилу в песках.

“Путь мой лежал, — расскажет ещё, — от ледников Памира до самой сердцевины Кара-Кумов. Однажды группа пограничников, в которой я находился, чуть не погибла от жажды при спасении маленького пограничного отряда”.

Сохранились протоколы допросов басмачей, которые вёл сам Луговской — то есть полномочия он имел куда большие, чем корреспондентские — что, впрочем, не удивительно: он же красный командир.

Ответы допрашиваемых традиционные: “До прихода Хасан-бека в наш колхоз я ничего не знал, что начинается басмачество... Взяли для численности... Во время ограбления кооперативов не участвовал... Я никого не убивал, не видел, как убивали, боёв не видел, но часто слышал стрельбу...” Вместо подписи: чернильный отпечаток пальца.

Все события последних лет дают Луговскому возможность писать жене: “Был в настоящих “делах”, и от этого нервно успокоился и начал обретать самого себя”.

“Тамара! Я как-то страшусь своего роста, меня куда-то распирает, расширяет. Я становлюсь новым человеком на новой земле”.

(Обращение к жене по имени, а не по шутливому прозвищу подчёркивает серьёзность произносимого.)

“...живу, как сухой аскет или старый слон. Сам себя ношу. Очень смешно купаться в речке бурой, как шоколад, холодной, как мороженое, через которую — рядом — видны афганские шалаши, дальше афганский городок, горы, закат, стада и прочая география”.

Ранней весной 1932 года в Москве на поэтическом совещании РАПП Луговской читает доклад “Мой путь к пролетарской литературе”, отрясая с ног прах конструктивизма, формализма и прочих “измов”, мешающих пути к социалистической идиллии. Юрий Олеша, уже решивший поменять писательство и славу на тихий алкоголизм, без обиняков говорит товарищам Луговского — Зелинскому и Сельвинскому: “Луговской ваш — раб. Его речь — это речь раба, подхалима”.

Но ладно бы ещё ругань Олеши и косые взгляды констров.

Доклад Луговского публикуют “Известия”, затем “Красная новь”. РАПП, я с вами! РАПП, я с вами! — раздаётся голос Луговского на всю страну — и тут... И тут РАПП закрывают.

Не просто закрывают — а постановлением ЦК — ЦК ВКП(б)! — от 23 апреля.

Вдруг выяснилось, что РАПП организация вредная и ненужная. Самовольно присвоившая себе главенство в литературе.

Это ещё не тот самый “капкан судьбы”, но уже ощутимый удар по пальцам, по живому.

К тому же брак, даже после рождения ребёнка — так и не заладился: однажды надломленное не срослось. Тамара уходит окончательно.

Так что весной 1932 года Луговской снова в Средней Азии: к чёрту, к чёрту вашу Москву — понять, кто свои, кто чужие, куда проще посреди пустыни. Шпалер, аскетизм, “вишнёвая заря Таджикистана... оранжевые тучи над снегами... усталые кочёвки караванов... пастушеский костёр на дальнем склоне”, седло, палатки, пограничники, афганские шалаши — вот жизнь.

“Вдруг — выстрел. Выбегаю. Залп. Кричат. / Команда: “В цепь!” Потом приказ: “Отставить!” / Храпящим жаром катится отряд: / Стреляют в воздух, машут, вьются в сёдлах, / Визжат, как кошки, горячат коней. / Толпа молчит. / Передовой с размаху / Кидает оземь лёгкий карабин, / Срывает шашку, револьвер, подсумки, / Снимает выцветший английский френч, / И голый торс его блестит как бронза <...> Здесь старики с лиловыми висками, / Густые бороды сорокалетних, / Размётанные брови молодых, / Немые, тонкие фигуры женщин, / Доброотрядцы в порыжелых кепках, / Чекисты в запylённых сапогах”.

Всё на местах, как видим.

И, Боже мой, как же приятно ощущать себя полноправным героем ещё в юности прочитанного стихотворения Гумилёва “Туркестанские генералы”, где речь идёт про “. . . дни тоски / Ночные возгласы: “К оружию!” / Унылые солончаки / И поступь мерную верблюжью. / Поля неведомой земли, / И гибель роты несчастливой, / И Уч-Кудук, и Киндерли, / И русский флаг над белой Хивой. . . / “Что с вами?” – “Так, нога болит”. / “Подагра?” – “Нет, сквозная рана”. / И сразу сердце защежит / Тоска по солнцу Туркестана”.

Конец весны, лето, начало осени 1932 года Луговской проводит в Уфе с Александром Фадеевым – около полугода!

Фадеев, ближайший, наряду с Тихоновым, товарищ и собрат Луговского, его успокаивал: забудь про РАПП, про баб, всё в порядке, всё наладится, мы на верном пути. И сам заодно успокаивался.

В эти же дни один из самых серьёзных деятелей советской литературы, тоже рапповец, но по-прежнему очень влиятельный – критик Леонид Авербах – делится в письме Максиму Горькому своими ощущениями: “Фадеев и Луговской пишут зверскими темпами, и, по-моему, получается у них очень здорово”.

“Жили мы анахоретами. . . – признаётся Луговской, – Днём работали, вечером выходили на шоссе, выбритые и торжественные, и рассуждали о мироздании и походе Александра Македонского. Неподдалёку всю ночь вспыхивали огни электросварки. Осенней ночью по саду ходила огромная старая белая лошадь, и со стуком падали яблоки. Стояли железные ночи. Как-то к нам заехал О. Ю. Шмидт и рассказывал о происхождении вселенной”.

Отто Юльевич Шмидт был геофизиком, астрономом, математиком, исследовал Памир, руководил двухлетней арктической экспедицией на ледокольном пароходе “Седов” в 1930 году – когда советский флаг был поднят над архипелагом Северной земли.

Другим товарищем Луговского и Фадеева был в те полгода Матвей Погребинский – полпред ОГПУ в Башкирии. Литераторы запросто называли его Мотей. Мотя, помимо поиска и разоблачения контры, занимался беспризорниками – знал все их чердаки и хазы, ходил по самым опасным местам без оружия и не без успеха перековывал сирот Гражданской войны в законопослушных советских граждан. Именно с Погребинского потом сделают главного героя фильма “Путёвка в жизнь”. Мотя был человек незаурядный, совестливый, в 36-м году застрелится. . . Но кто ж знал, что Луговской пьёт кумыс и веселится с двумя будущими самоубийцами.

В Уфе он – любясь на новых товарищей – сочинит вторую книгу “Большевиков пустыни и весны”.

Ему кажется, что большевики, пустыня, вселенная – всё это близко друг к другу; а остальное – детали.

Возможно, так оно и было.

Выпьем за Сталина

26 октября 1932 года в доме Горького на Малой Никитской состоялась встреча Сталина с советскими литераторами. Луговской, естественно, тоже был там. И это был не самый простой из его дней.

Из писателей, помимо хозяина дома, присутствовали: Фадеев, Всеволод Иванов, Катаев, Леонид, Шолохов, Павленко, Юрий Герман, Зазубрин, Либединский, Малышкин, Гладков, Никулин, Никифоров, Сейфуллина, из критиков: Авербах, Кирпотин, Ермилов, Зелинский, из поэтов: Багрицкий, Луговской, Сурков, за детскую литературу отвечал Маршак, за драматургию Афиногенов. . .

Компанию Сталину составили Молотов, Каганович, Ворошилов и Постышев.

Разговор начался с РАППа, который в 20-е много кому попортил жизнь. Авербах в очередной раз признал свою и коллективную вину, но Лидию Сейфуллину это не успокоило – она призналась, что пребывает в отчаянии от того, что, распустив РАПП, бывших рапповцев опять тянут в литературные начальники – они ж снова смогут затравить любого беспартийного до потери здоровья.

Сталин посмеивался, Горький, который рапповцев любил, выступал как дипломат, пытаясь не допустить скандала. Атмосфера понемногу стала человечной и даже весёлой.

Выступал Леонов, просивший предоставлять больше информации о жизни страны. Высказался Зазубрин, переживающий о том, что Сталина нельзя описывать как он есть, например, с рябинами на лице – попутно, он сравнил Сталина с Муссолини: литераторы готовы были провалиться со стыда от такой бестактности. Маршак сказал о детской литературе...

В перерыве Горький попросил Луговского прочитать отчего-то не собственные стихи, а “Куклы” молодого поэта Дмитрия Кедрина.

Почему Луговского? Ну, все знали артистизм и бархатный голос этого красавца, в том числе и Горький, с которым Луговской познакомился годом раньше, в 31-м.

“Прослушали молча, одобрили, тоже молча”, – сообщает Корнелий Зелинский, оставивший записи об этой встрече.

Потом обедали, спорили о критике, о том, что важнее – производство душ или производство танков, шумели, совсем расслабились, Авербах предложил, чтоб Луговской прочитал новые стихи.

“Луговской не заставляет себя долго ждать, – вспоминает Зелинский, – Он встаёт, высокий, в своём крупнозернистом свитере портового рабочего или моряка, он играет бровями”.

– Я прочту “Сапоги”, – объявляет Луговской, – Это из нового.

“Сапоги” – вещь энергичная, остроумная – одна из лучших у Луговского; хотя у него много “лучших”. Тем не менее, это всё-таки поэма – маленькая, но поэма.

Зелинский вынужден констатировать: “Начинают слушать Луговского со вниманием. Он читает вкусно, патетично и громко... Луговской читает две, три, пять минут. Читает десять минут... двадцать минут... это слишком. Обстановка совсем не такова, чтобы слушать высоко-идеологические стихи. Начинают позванивать стаканы, устаёт, слабеет внимание. Все ждут выступления Сталина. А Луговской читает и читает, и это, наконец, начинает всех тяготить. Он переиграл и, закончив, не получает ни одного аплодисмента”.

...Такая незадача, что хоть прямо со встречи опять уезжай в Туркменистан.

(Хотя скидку на то, что Зелинский на тот момент Луговского не любил, считал предателем конструктивизма, и в данный момент испытывал что-то вроде злорадства – сделать стоит. К тому же, если “Сапоги” читать вслух – на двадцать минут поэмы не хватит. Но в целом он, конечно, написал что-то похожее на правду.)

Обидно ещё и то, что следом просят читать Багрицкого – он пытается сбегать, потом нехотя, задышавшись от астмы, читает “Человек из предместья” – и срывает аплодисменты.

В эти минуты Луговской, что называется, поплыл – так бывает, когда совершаешь один неудачный поступок, и всякий следующий шаг выставляет тебя во всё более неприглядном свете.

Снова разлили по бокалам, писатель Малышкин изъявил желание чокнуться со Сталиным, писатель Павленко, который на прошлой писательской встрече, подогретый вином, трижды облобызался с вождём, теперь подшутил над Малышкиным: “Это плагиат!” – все захохотали, и тут Луговской, видимо, решил под шумок исправить своё положение, объявив своим громовым голосом:

– Давайте выпьем за здоровье товарища Сталина!

Но тут влез уже изрядно поднабравшийся писатель Никифоров:

– Да надоело уже это! Да сколько можно пить за его здоровье! Ему и самому надоело это слышать!

– Правильно, товарищ Никифоров! – поддержал его Сталин.

Зелинский, правда, отметил, что вождь при этом посмотрел на Никифорова “иронически и недобро”.

А на Луговского вообще не глянул.

Выпили за что-то другое, после чего Сталин произнёс длинную, продуманную речь про партийных и беспартийных, которым всегда найдётся работа по душе в Советской стране, чем подкупил писательские сердца, и кто-то, но уже не Луговской, во второй раз предложил:

– Выпьем за товарища Сталина!

И все, надо ж тебе, вдохновенно поддержали этот тост.

Следующий тост поднял Фадеев – “за самого скромного из писателей – за Шолохова!” – и все с удовольствием пьют за Шолохова, к искреннему смущению великого донца.

Сталин, с удовольствием и показательно выпив за Шолохова, произносит речь про инженеров человеческих душ – и снова поднимает бокал за Шолохова. Везёт же кому-то.

Затеваается, насколько возможно в такой обстановке, серьёзный разговор о диалектике и материализме.

– Можно быть хорошим художником и не быть диалектиком-материалистом, – отвечает Сталин, – Были такие художники. Шекспир, например. Мне кажется, что если кто-нибудь овладеет, как следует, марксизмом или диалектическим материализмом, он стихи не станет писать.

Луговскому не молчится, и он в очередной раз пытается проявить себя.

– А разве не может быть хороший поэт диалектиком? – спрашивает он.

Сталин, наконец, его замечает и по-отечески ещё раз объясняет: может-может, но сумеет ли он после этого писать так же хорошо? Никто не должен забывать голову художнику тезисами. Он должен просто правдиво показывать жизнь.

После этого, видимо, Луговской вновь почувствовал себя живым. Когда затеялись петь – Луговской запел сначала вместе со всеми, а дальше мастерски выступал соло. Тут-то, наконец, сорвал аплодисменты и всеобщий восторг.

Расстались вожди и писатели в благодушном настроении.

Горький, обнимая Сталина, пустил слезу, смутился.

Что там было с Луговским, мы не знаем, но по крайней мере в Туркменистан он на этот раз не уехал.

В качестве послесловия к этой истории придётся сказать, что писатель Никифоров Георгий Константинович, сорвавший тост Луговского за Сталина, будет расстрелян спустя шесть лет, в 38-м году.

Было бы нелепо предполагать, что его убили за эту выходку. Но вот так совпало.

Критика Авербаха, предложившего на этой встрече Луговскому читать стихи – расстреляют тоже.

Удачнейший в мире человек, моветон и неврастеник

С новой женой – Сусанной Михайловной Черновой – Луговской познакомился на радио – где работал в 1931 году. Он будет звать её Сузи.

Распишутся второпях, праздновать свадьбу не станут.

Отношения их насколько страстные, настолько и странные. Едва начался роман – Луговской уезжает с Фадеевым в Уфу. Не столько прочь от Сусанны – сколько затем, чтоб решить: с Тamarой всё, с Тamarой больше не будет ничего, та, прежняя его жизнь, надорвалась – и теперь надо переждать, чтоб зажило.

Когда возвращается, они так и не селятся вместе – Луговской живёт с матерью на Тверской, Сусанна – в Палашевском переулке.

Луговской ходит туда в гости, иногда с Фадеевым – хозяйка играет им на пианино, занимающем половину комнаты; другую половину занимает тахта, Володя и Саша лежат на тахте и пьют глинтвейн, сваренный очаровательной Сусанной.

Фадеев описывал её так: “Белокура, стройна, инфантильна”. Сложно в такое существо не влюбиться поэту.

Но и обманывать такое существо, тоже, наверное, не сложно.

После того, как первая семья развалена, многое позволяется с куда большей лёгкостью.

Помимо малых увлечений, у Луговского вскоре возникает очередной серьёзный роман на стороне – с красавицей Ириной Соломоновной Голубкиной.

Сестре Татьяне он пишет в те дни: “Жизнь хороша. Правда состоит из ряда лжи”.

Красивый, безответственный, добрый, сентиментальный, избалованный двухметровый мужчина-подросток – его хватает на многое, и ещё остаётся.

Он сходится с Михаилом Голодным и Павлом Антокольским. Но особенно крепка его приязнь в те годы с Тихоновым и Фадеевым – дружба эта, судя по их письмам той поры, – чистая, почти мальчишеская, в самом лучшем смысле – советская.

Тихонов пишет ему в одном из писем: “Ты вообще, чудак, не понимаешь одного: что ты удачнейший в мире человек. Удача идёт впереди и сзади те-

бя. Удача идёт к тебе, как военная форма, простая и всё же изумительная”.

А вот Фадеев: “С каким-то особым хорошим чувством подумал о тебе – о том, что ты существуешь на свете и что ты – мой друг... Ты стал очень необходим мне, милый старый медвежатник, и я рад наедине со своей совестью сказать тебе эти наивные, но правдивые и большие слова... Ты доставишь мне большое удовольствие своим видом – видом мужественного неврастеника, моветона и убийцы”.

Луговской хорошо, по-гусарски, выпивает – и поит всех на свои деньги.

Один раз, правда, случился забавный казус. Была у Луговского тётка, целая генерал-губернаторша. Как только Советская власть укрепилась, она быстро сообразила что к чему, обменяла свой генеральский дом на квартиру в Староконюшенном, заселила сёстрами, а сама уехала в деревню: тихо живу, развожу коз, никаки генералов и губернаторов знать не знаю.

Но однажды в 30-е какие-то неотложные заботы привели её обратно в Москву. Козу не с кем было оставлять, и она её привезла с собою. Дома в Староконюшенном как раз туалет не работал, тётка туда козу загнала, припёрла стулом дверь, и ушла по делам.

Тут и явился который день кутящий Луговской: родню проведать, супа поесть, стихи почитать. Открыл своим ключом, никого не обнаружил, зашёл в туалет, открыл кран, пытается умыться, вода не течёт, света тоже нет. Вдруг слышит дыхание позади. Оглянулся и увидел бородатое страдающее лицо с рогами. Подумал: всё, допился. Тихо вышел, закрыл дверь, припёр стулом, покинул квартиру и никому ничего не рассказал.

Только много позже выяснилось, что это всё-таки не белая горячка приходила и рассунок его в порядке.

В марте 33-го Луговской в компании Тихонова и Павленко едет в Дагестан, живут они в доме отдыха Совнаркома.

“Дом отдыха, – отчитывается Луговской Сусанне, – висит над пропастью более километра глубины. Сидишь и видишь на много десятков вёрст кругом, как в орлином гнезде. Ночью при луне вид потрясающий, мрачные ущелья, полные мглой...”

Вскоре к Луговскому приедет Ирина Голубкина, она беременна, но об этой гостье он уже Сусанне не напишет.

27 августа 1933 года Оргкомитет Союза писателей под руководством Горького занимался распределением писателей в братские республики: кто кого переводить, изучать и славить будет. На Украину направили Фадеева, Катаева, Ольгу Форш, в Грузию – Павленко, Тихонова, Тынянова, в Армению – Безыменского, Каверина, Федина, ну и Шагинян, ей проще всех работать по армянской линии, в Татарию, естественно, Сейфуллину, и почему-то Олешу, Ильфа и Петрова, в Узбекистан – Леонова, Ермилова, Никулина, в Туркменистан – Всеволода Иванова и Луговского.

Далеко не все перечисленные справились с возложенной на них работой, однако Луговской трудился сразу по нескольким направлениям. Не сказать, что он прославил современную поэзию Туркменистана – её, по-видимому, просто не было в тот момент, зато Луговской неустанно прославлял сам Туркменистан. Заодно вдохновенно переводил и с тех языков, которые знал, и с подстрочников тоже: под его руководством выйдет первая объёмная антология азербайджанской поэзии, он переводил узбекского поэта Гафура Гуляма, литовского поэта Теофилиса Тильвитиса, тем же летом Луговской съездил в Дагестан, где в компании с Тихоновым и Павленко открыл Сулеймана Стальского. Помимо этого, он занимался переводами Шекспира и Байрона, болгарских поэтов Вазова и Смирненского, турецкого классика Назыма Хикмета, с немецкого перевёл – Вольфа, с испанского – Неруду, с польского – Броневского, Стаффа, Лесьмяна, Бжехву, Ивашкевича, Тувима – всех вышеназванных поэтов Луговской знал лично. Именно переводы с польского Луговского замечательно показывают, какими отличными возможностями обладал этот широкий человек.

13 декабря 1933 года у Ирины Голубкиной и Луговского родится дочь Людмила, его второй ребёнок. Жить вместе с новой семьёй Луговской не станет – официально он всё ещё женат на Сусанне Черновой.

“Какое же место в то время в моей жизни занимал отец? – напишет Людмила потом, – Да почти никакое. Он появлялся довольно часто, слишком большой для нашей скуднометровой комнаты, всегда как-то по-особенному,

даже щеголевато, одетый. Как будто из другого мира. Может быть, поэтому я не воспринимала его как близкого человека.

Часто я забиралась к нему на колени и затихала, иногда даже засыпала под громыханье его рокочущего баса. Всё в нём было сильно, крупно, громко. Когда он чихал, звенели тазы и корыта в ванной.

Мне очень нравилось играть с его немислимыми бровями. <...>

Я любила, когда он приходил, хотя в те времена ещё не знала, что мой отец. Я звала его “дядя Володя”. Уже позже я как-то домучила маму вопросом: “Кто мой папа?” – И она сказала: “Спроси у дяди Володи”.

Антокольский пишет, что жизнь у Владимира Луговского была в те годы “весёлая, богатая, шумная”. До детей ли тут.

17 августа 1934 года в Москве, в Колонном зале Дома Союзов открылось небывалое мероприятие: первый Съезд советских писателей.

В президиуме сидели Максим Горький и секретарь ЦК Андрей Жданов.

Доклад о поэзии делал Николай Бухарин. К тому моменту он уже покинул вершины власти – ещё в 1929 году его вывели из Политбюро ЦК. С другой стороны, Бухарин оставался виднейшим большевиком, соратником Ленина, к тому же редактором “Известий”, академиком АН СССР, и так далее.

Имеет смысл предположить, что Сталин предложил ему доклад, как фигуре компромиссной – с одной стороны, Бухарин представлял партию, с другой – всегда можно было сказать, что это частное мнение общественного деятеля далеко не высшего ранга. Бухарина, в конце концов, литераторы могли оспорить, он же – не ЦК.

Можно представить, как Луговской ждал услышать своё имя – и как ждали и не дождались упоминания своих имён десятки, а то добрая сотня находившихся в зале поэтов (всего на съезде присутствовало 597 делегатов).

Бухарин говорит о Демьяне Бедном и Маяковском, как о тех, кто положил зачин советской поэзии. Когда произносит имя Маяковского – все встают и аплодируют стоя. Это – признание.

Далее идёт пассаж про Александра Безыменского – снисходительно похвалив, Бухарин называет его “лёгкой кавалерией”, сетуя, что “с ним произошло то же самое, что с Д. Бедным: не сумев переключиться на более сложные задачи, он стал элементарен, стал “стареть”.

“Светлее и глубже оказался безвременно погибший Багрицкий”, – говорит Бухарин (Багрицкий умер за полгода до съезда).

В целом хорошо, но сдержанно Бухарин отзывается про Светлова, трижды подчеркнув, что Светлов, к сожалению, не Гейне – в том смысле, что образован мало, а любить “сопливеньких” уже не хочется: советскому писателю необходимо образование.

“Жаров и Уткин, к сожалению, страдают огромной самовлюблённостью”, – говорит Бухарин. Упоминает Сергея Есенина, что многим в зале, конечно же, очень нравится: Есенин хоть и не запрещён, но занимает в поэтической иерархии место не сопоставимое с тем, которое занял Маяковский.

Из поэтов “очень крупного калибра” Бухариным названы (и довольно подробно разобраны) Пастернак, Сельвинский, Тихонов, Асеев.

Чуть позже Бухарин вспомнит и назовёт в “пятёрке” “калиброванных” Василия Каменского.

И, наконец, считает важным упомянуть о талантливых стихотворцах нового поколения. “Борис Корнилов – крепкая хватка поэтического образа и ритма”. Прокофьев. Павел Васильев... Луговской.

У Луговского вроде бы отлегло от сердца: он есть, и ему не досталось, как Безыменскому или Светлову. С другой стороны – о поэзии его вообще ничего не сказано – в отличие от, например, того, как бережно и любовно было разобрано творчество Николая Тихонова.

В любом случае, если успокоиться и всё разложить по полочкам, то в сухом остатке – две величины: Маяковский и Багрицкий. Два идейно близких, но ослабевших в последнее время: Бедный и Безыменский. Пятёрка сильнейших представителей относительно старшего поколения: Пастернак, Асеев, Каменский, Сельвинский, Тихонов. И пятёрка молодых: Светлов, Корнилов, Прокофьев, Павел Васильев, Луговской.

Вовсе не плохо, учитывая то, что десятки поэтов просто не были упомянуты, включая не сказать, что очень актуальных, но всё же маститых – Сергея Клычкова и Сергея Городецкого; несомненно актуального и верховоюще-

го Алексея Суркова; Мандельштам месяц назад отбыл в воронежскую ссылку, о нём речи нет – хотя ещё в прошлом году его публиковали в “Литературной газете”, но есть ведь Анна Ахматова, которой Демьян Бедный предложил издать новую книгу с его предисловием (она отказалась, об этом шли толки) – портрет Ахматовой в 30-е и 40-е будет стоять на столе у Луговского; есть его сотоварищи по ремеслу – Вера Инбер, Михаил Голодный, Павел Антокольский, или, скажем, Семён Кирсанов и Василий Казин, в те годы имевшие большую известность. Имеются плюс к тому Сергей Васильев и Пётр Орешин, Рюрик Ивнев и Всеволод Рождественский, Николай Заболоцкий и Ярослав Смеляков, ещё не так давно гремели Анатолий Мариенгоф и Вадим Шершеневич – где они, кстати? – только что появился Александр Твардовский, пролетарские поэты и крестьянские поэты – рой имён.

Луговскому всего 33 года, он начал меньше десяти лет назад – теперь он один из первых, и у него все шансы стать самым первым.

На съезде он тоже выступает, 29 августа, после Тихонова, перед Пастернаком, произносит речь с трескучим зачином (“Моё поколение, которое теперь стало поколением мастеров и инженеров, механиков лаборантов и строителей пятилеток, встретило мировую войну в тринадцать, и в шестнадцать лет услышало Октябрьские залпы. Я с моим поколением возненавидел старый мир...”), но следом неожиданно цитирует Гераклита (“Всё, что мы видим наяву, есть смерть”) и Эмпедокла Агригентского (папино наследство так просто по ветру не пустишь), “Одиссею”, погребальные стихи Иоанна Дамаскина и – самое удивительное – Николая Гумилёва, расстрелянного в 1921 году за участие в антисоветском заговоре.

Доклад Луговского, как и многие иные доклады на съезде являл собой, по меткому замечанию Сельвинского в кулуарах, “странную смесь искренности и казёнщины”.

Луговской выстраивает свою поэтическую иерархию, в целом, кстати, схожую с бухаринской: Маяковский и Багрицкий, Пастернак и Тихонов.

Далее он утверждает: “Здесь уместно будет сказать, что партийность в поэзии, в самой человеческой лирике только увеличивает во много раз силы и возможности поэта. Пора сдать старому чёрту на рога старые сказки о том, что существует мир для себя, мировой уют для себя, а рядом с ним обязательный, правильный, но жёсткий, не интимный мир коммунизма. Коммунизм – это не узкий коридор. Коммунизм – это всё”.

Что ж, Луговской сделал ставку. Всё так всё.

А пока – пожинаем плоды отличной поэтической работы и звонких речей.

(Окончание следует)